НЕФОРМАЛЬНАЯ РОССИЯ

субкультуры от царизма до наших дней

АНТОН ТЕПЛОВ



Антон Теплов

Неформальная Россия субкультуры от царизма до наших дней

https://litres.ru/74758528
SelfPub; 2026

Аннотация

Почему стиляг стригли прямо на улицах, хиппи ловили на трассах всей страны, а детей в лисьих масках обсуждали в парламенте? Перед вами сто тридцать лет русской неформальности: студенческие землячества и запрещённые манифесты, джаз на рентгеновских плёнках, вписки и рок-клубы, эльфийские поляны и эстетики TikTok. Три эпохи, три России — и один вопрос: что бывает человеку, который отказывается быть «как все»? Эта книга началась со спора в баре. Она его заканчивает.

Содержание

Оглавление	5
Введение	6
Часть I. Царизм	14
Глава 1. Парламент несовершеннолетних	15
Глава 2. Ланцепупы	49
Глава 3. От декабристов до футуристов	66
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Антон Теплов
Неформальная Россия субкультуры от царизма до наших дней

Неформальная Россия: субкультуры от царизма до наших дней

Теплов Антон Олегович

Автор — Теплов Антон Олегович. Иллюстрации — Лапинский Антон.

Авторский текст. Иллюстрации: архивные изображения из общественного достояния и рисунки Антона Лапинского. Сноски в квадратных скобках, полная библиография — в конце книги.

Оглавление

Введение 3
Часть I. Царизм 8
Глава 1. Парламент несовершеннолетних 9
Глава 2. Ланцепупы 31
Глава 3. От декабристов до футуристов 43
Глава 4. Короткая остановка перед 1917-м 63
Часть II. Социализм 68
Глава 5. Стиляги 69
Глава 6. Битники и ранние хиппи 87
Глава 7. Панки, рокеры и «хулиганы-80» 105
Глава 8. «Система» и её антрополог 121
Глава 9. Что оставил социализм 134
Часть III. Наши дни 138
Глава 10. Толкиенисты и ролевики 139
Глава 11. Девяностые у улицы 153
Глава 12. Нулевые: эмо, готы, анимешники и форумная цивилизация 170
Глава 13. Десятые: хипстеры, крафт и уличная мода 185
Глава 14. Интернет-эстетики 199
Глава 15. Нормисы 212
Заключение 221
Библиография 227
Авторы фотографий 233

Введение

Эта книга началась со спора. Мой приятель, человек моложе меня лет на двадцать, заявил за пивом, что субкультуры умерли, а хоронил их TikTok. Я возразил, что хоронить их начали гораздо раньше — где-то между перестройкой и первым ADSL-модемом. Мы не договорились. Спор перешёл на выяснение того, что вообще считать субкультурой, а это, как известно всем, кто в такие споры ввязывался, конец вечера. Зато я понял, что спорить на эту тему можно бесконечно, если не выстроить её во времени. Отсюда и конструкция книги: три эпохи, три России, три разных ответа на один и тот же вопрос — как молодой человек отделяет себя от мира взрослых и что ему за это бывает.

Сразу признаюсь в двух вещах. Первая: слово «субкультура» я применяю к XIX веку не совсем честно. Термин родился в социологии XX века, и натягивать его на студенческие землячества 1890-х — операция с натяжкой. Но иначе книгу не собрать. Троицкий[1], чья «Субкультура» для меня во многом отправная точка, делает ещё смелее: он начинает с Пушкина и декабристов [Троицкий, «Субкультура», 2019]. Я декабристов трогаю лишь вскользь, в третьей главе, и то с оговорками — об этом ниже. Вторая: я не социолог и не ан-

[1] Артемий Кивович Троицкий 13 января 2023 г. включён Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов (реестр иноагентов: minjust.gov.ru).

трополог. Щепанская, которая годами ходила по ленинградским «вписками» и описала «Систему» так, что веришь каждому слову, — антрополог, и у неё всё строже [Щепанская, «Система», 2004]. Я — рассказчик. Мой жанр ближе к тому, что делал Троицкий: память, архив, личный опыт и немного нахальства.

Теперь о рабочем определении, потому что без него дальше не договоримся. В этой книге субкультура — это сообщество, у которого есть пять опор: дорогой вход (принадлежность чего-то стоит — денег, риска, лет), место сбора (физическое, с адресом или без), иерархия (свои старшие и свои зелёные), враг (снаружи или в головах) и язык, которому учатся. Не всякая компания, где есть всё пять, — субкультура; но всякая субкультура, о которой я пишу в первых двух частях, стоит на этих опорах. Держите это в голове: в третьей части опоры начнут отваливаться по одной, и интересно будет смотреть, сколько можно открутить, прежде чем конструкция перестанет быть собой.

О границах — чтобы меня не упрекали в том, чего я не обещал. Книга не энциклопедия: она не про всех, а про формы. Из неё не узнать, сколько было субкультур в России и как все они назывались; из неё можно узнать, как устроено русское отделение от «как все» — его механика, его цена, его судьба в трёх разных государствах. Поэтому в книге есть страницы о землячествах и нет каталога молодёжных течений 1930-х; есть глава о дворе девяностых и нет реестра всех

его кличек; есть эмо и квадроберы и нет полного списка эстетик ленты — их к моменту печати родится ещё сто. Полнота была бы ложью: у неформальности нет реестра, и тот, кто его обещает, продаёт карту без местности. Я выбрал узлы, на которых форма менялась, и связал их нитями. Узлов пятнадцать, нитей шесть — дальше считать можно по главам.

Один тезис проходит через всю книгу, и я сформулирую его сейчас, чтобы потом не повторяться. Субкультура в России всегда определялась не тем, что молодёжь любила, а тем, чего не хотела. Царский студент не хотел быть «как все» сословным, казённым способом. Стиляга не хотел носить серое. Панк не хотел светлого будущего. Квадробер… тут сложнее, и потому третья часть получилась у меня самой спорной. Современные интернет-эстетики, на мой взгляд, вообще плохо ложатся в старое понятие субкультуры — но именно поэтому о них стоит писать.

Ещё два тезиса, попроще. Второй: субкультура в России всегда строилась из подручного. Запрещённая книга, трофейная пластинка, рентгеновский снимок, проволока на кольчугу — материал был тем, что лежало под рукой, и потому каждая эпоха читается по её дефициту, как дерево по годичным кольцам. Третий: государство в этой истории никогда не было погодой. Оно было действующим лицом — то слепым, то зорким, то жестоким, то растерянным, — и от того, каким оно было, зависело, какой будет субкультура. Три эпохи отличаются в первую очередь тем, что в первой власть

неформала не замечала, во второй лечила, в третьей — паникует в новостях.

Из трёх тезисов я, забегая вперёд, вытащу в Заключении формулу, которой всё это можно закрыть: от протеста к самопрезентации, от подполья к алгоритму, от «Системы» к эстетике. Держите и её. Если по прочтении она покажется вам натяжкой — отлично, значит, книга удалась как материал для спора, а спор был её целью с первого абзаца.

Про источники и про гигиену. Там, где я цитирую, стоит ссылка в квадратных скобках. Там, где источника нет, я пользуюсь оговорками — «по воспоминаниям участников», «по свидетельству современников», «исследователи отмечают». Это не придирка жанра, это его гигиена. Прямых кавычек выдуманных в книге нет: если кто-то в ней говорит вслух, он говорил это при свидетелях, а где свидетелей не было, я прямо пишу, что реконструирую сцену. Отдельные сцены — например, самая первая в книге — построены как авторская реконструкция и помечены как реконструкция. Не для страховки. Для честности, без которой вся затея не стоит потраченной бумаги.

Отдельная оговорка — о времени. Первая и вторая части описывают законченные эпохи, и там я опираюсь на книги и архивы, которым десятки лет; третья часть написана о живом предмете, и даты в ней действительны на момент написания. Лента, которую я описываю, к вашему чтению уже будет другой — не виноват ни я, ни лента, просто она живёт

быстрее печати. Я принял это заранее и считаю не ущербом, а слепком эпохи: книга о неформальности имеет право устареть ровно в той части, где предмет сам устаревает за сезон. Если когда-нибудь выйдет второе издание, первые две части останутся как есть, а третью придётся переписать — и это будет доказательством её правоты.

Про иллюстрации. Две категории. Архивные снимки, плакаты и журнальные карикатуры — всё из общественного достояния: либо истёк срок охраны, либо изображение изначально казённое; у фотографий с известным автором я подписываю имя, а полный список авторов снимков дан в конце книги. К каждой такой иллюстрации я объясняю, что на ней и почему она свободна. Вторая категория — рисунки Антона Лапинского: гротеск, кукольные фигуры, метафизическая пустота вокруг действующих лиц. Эта оптика, как ни странно, лучше гладкого реализма передаёт то, что я пытаюсь описать словами, и потому книга про вчерашний день иллюстрируется так же, как книга про позапрошлый век.

Главы разной длины. Это не небрежность, а честность: про стиляг мне есть что сказать на пятьдесят страниц, про дрейнеров — на пятнадцать, и врать я не стану. Две главы — четвёртая и девятая — короткие нарочно: это шарниры, на которых части поворачиваются, а шарнир не обязан быть длинным. Он обязан держать.

И последнее, личное. Я сам из тех, кого в этой книге описывают, — не из героев, из статистики: носил не то, слушал

не то, ходил не туда, и мне тоже доставалось, хоть и по-мелкому. Это значит две вещи. Хорошую: я знаю изнутри, что такое цена входа. Плохую: я не беспристрастен и местами симпатизирую героям больше, чем положено рассказчику. Предупреждён — значит, вооружён. Вооружайтесь.

О трёх эпохах, на которые разделена книга, стоит сказать отдельно, потому что деление это не канцелярское. Царская, советская и постсоветская Россия различаются режимами — и не ими одними: у них разные отношения с молодостью как таковой. Империя молодость в лицо не знала: студент был юридической категорией, но не социальной фигурой, и потому неформальность царской поры — почти всегда история небольших кружков, землячеств и артелей, едва заметных снаружи. Советская власть молодость придумала заново и сделала её государственным проектом: комсомол, пионерия, стройотряды — и тем самым создала то, с чем вся вторая часть книги будет считаться, — официальную молодёжь, на фоне которой неофициальная читается мгновенно. Постсоветское время вернуло молодость рынку: субкультура девяностых и дальше — уже не протест против единственного работодателя, а потребительский выбор среди множества, и цена входа в неё упала до цены интернета. Три эпохи — три разных ответа на один вопрос: кому принадлежит право решать, как выглядит и о чём думает восемнадцатилетний.

Отсюда и форма книги, она заслуживает отдельного объяснения. Хронология в ней есть, но она не ровная: я не делил

материал на равные ломти по двадцать пять лет, как делят учебники. Хронологический конвейер честен, но скучен, и, что хуже, лжив по сути: он делает вид, что 1870-е и 1970-е весят одинаково. Они не весят. Царской неформальности в книге отведено четыре главы не потому, что её было мало, а потому, что до нас дошло мало: кружок декабристов не вёл протоколов для потомков, студенческая касса взаимопомощи не издавала альманахов, ланцепупы не фотографировались. Советская часть длиннее, потому что длиннее архив: у неформала шестидесятых уже есть фотоплёнка, магнитофонная бобина и, главное, враг, который вёл протоколы за него. Современность занимает треть книги по другой причине — она не закончилась, и писать о ней приходится как о строительной площадке, а не как о музее. Поэтому главы разной длины, и я не стану это выравнивать: книга о жизни, а жизнь не версталась по шаблону.

Ещё одна оговорка, без которой честный разговор не начнётся. Читатель, ищущий здесь полный реестр русских субкультур, будет разочарован: его нет и не могло быть. Я выбирал не самые яркие и не самые многочисленные компании, а те, по которым сохранился след — текст, фотография, мемуар, протокол, — и по которым можно проследить механику: как люди собираются, как называют себя, как находят врага и как расходятся. Митьки вошли в книгу, а сто других ленинградских объединений восьмидесятых — нет; футбольные фанаты вошли, а любители птичьего пения — нет. Это

не оценка значимости. Это правило выборки, и я предпочитаю объявить его во введении, а не оправдываться в каждой главе.Ещё одна оговорка, без которой оглавление выглядит странно. Две главы в книге короткие — четвёртая и девятая. Я называю их про себя остановками: местами, где поезд стоит на станции, не трогаясь, и видно перрон, часы, чужие лица в окне напротив. Четвёртая останавливается перед 1917 годом и оглядывает всю царскую часть сразу; девятая делает то же с советской. Укорочены они не от лени: после длинной главы о стилягах или о «Системе» читателю нужен купейный коридор, а не новый зал. Книги, как и вечеринки, держатся не на плотности, а на смене темпов.

Часть I. Царизм

Субкультура как привилегия образованного меньшинства

В дореволюционной России не было массовой культуры — а значит, не от чего было отколоться массово. Не было молодёжной прессы, танцплощадок на районе, радио. Была сословная лестница, на которой молодость занимала определённую ступень и обязана была вести себя соответственно. И всё же уже тогда существовали люди, собиравшиеся «не как все»: студенческая корпорация с её жёстким внутренним кодексом, провинциальные компании, придумывавшие себе смешные названия, чтобы не сойти с ума от скуки, и наконец футуристы, которые превратили эпатаж в профессию. Три главы — три градуса этого брожения. Четвёртая, короткая, — про то, чем царская «неформальность» принципиально отличается от всего, что случилось потом.

Глава 1. Парламент несовершеннолетних

Студенты рубежа веков: землячества, кружки и политика, которую невозможно было не обсуждать



Попурри главы

Попурри главы. Иллюстрация Антона Лапинского.

Начну со сцены, и сразу признаюсь: я её собрал сам, из

трёх мемуарных кусков и одной фотографии. Владивосток, конец 1880-х. Ресторация при гостинице на Светланской: пальмы в кадках, оркестрик из четырёх цыган, официант с несвежим воротничком. За отдельным столиком сидит молодой человек — чиновник, гимназический учитель, а может быть, слушатель только что открытых в городе классов, — заказывает бутылку шампанского и пьёт её один. Не напивается — именно пьёт, медленно, глядя в окно на бухту. Зачем? Современники, описывающие подобные сцены, сходятся в одном: чтобы отделиться. Чтобы хоть на один вечер, хоть за одну бутылку перестать быть винтиком в табели о рангах, сыном, подчинённым, прихожанином, подданным — и стать просто человеком, который пьёт шампанское и смотрит на воду. Жажда отдельности без формы для неё. Субкультуры во Владивостоке 1888 года ещё нет; есть ресторация, бухта и тоска. Я взял этот стакан эпиграфом ко всей первой части, потому что дальше пойдёт история о том, как у этой жажды появлялась форма: устав, касса, песня, мундир, зал суда. К концу книги форма снова растворится, и останется опять один стакан — но это к концу книги, а пока мы только входим в казанскую аудиторию.

Студент конца XIX века — первый в русской истории массовый социальный тип молодого человека, живущего отдельно от семьи, по своим правилам, со своей кассой, своими песнями и своими врагами. Не класс, не сословие — корпорация. До него молодость в России была просто возрастом:

переходным сезоном между отцовским домом и собственным домом, причём оба дома устроены одинаково. Студент превратил молодость в адрес. На вопрос «где ты живёшь?» он мог ответить «на Васильевском, у земляков» — и в этом ответе уже было всё: город, корпорация, форма жизни. Эта глава про то, как корпорация училась говорить «мы», а потом обнаружила, что государству это «мы» очень не нравится. Я буду рассказывать её с некоторой завистью, о которой предупреждаю заранее: у них была аудитория, а у нас будет только лента, и мне ещё предстоит решить, кто из нас обеднел.

Откуда вообще брались студенты. Из дворян — сначала почти сплошь из дворян, потом всё меньше; из разночинцев, из купеческих и мещанских семей, и особым, очень плотным потоком — из духовных: семинаристы шли в университеты гуртом, и это отдельный сюжет, потому что семинарская выучка — кружковая дисциплина, привычка к спору о тексте, опыт полулегального чтения — потом отпечатается на всей студенческой культуре и, если честно, на всей русской революции. Историк А. Е. Иванов, посчитавший по ведомственным отчётам, показывает: за последние предреволюционные десятилетия студенчество выросло из узкой привилегированной прослойки в заметную городскую массу — к началу первой мировой во всех высших учебных заведениях империи числилось уже больше ста тысяч человек [Иванов, «Студенчество России конца XIX — начала XX века»,

1999]. Сто тысяч молодых людей, живущих не дома. Этого хватило бы на город. По сути, это и был город — только рассеянный по империи, от Петербурга до Томска, говорящий на одном жаргоне и читающий одни тетради.

Про семинарский канал скажу чуть больше, потому что без него непонятна интонация всей эпохи. Чернышевский и Добролюбов — оба сыновья духовенства, оба прошли семинарию; не подозреваю случайности. Семинария давала три вещи, которые потом пригодились кружку: латынь, то есть привычку к тексту как к полю работы; диспут, то есть привычку к спору как к гимнастике; и опыт чтения запрещённого по ночам, потому что в семинариях читали Белинского раньше, чем в университетах, — исподтишка, из-под подушки, с той самой смесью страха и превосходства, которая потом станет фирменным вкусом всей русской неформальности. Семинарист приходил в университет уже готовым подпольщиком понедельника: у него была дисциплина без начальства.

Литература зафиксировала новый тип раньше социологии, как ей и положено. Раскольников — студент-разночинец, живущий в комнате, похожей на шкаф; Лопухов и Кирсанов из «Что делать?» — студенты-медики, живущие в комнате, похожей на коммуну, — Чернышевский написал их в 1863-м, и роман стал для нескольких поколений не художественным текстом, а инструкцией: вот как устроены люди, которые решили жить не так. Умение русской молодёжи чи-

тать романы как уставы — отсюда. Заметьте, что это за книга: в ней мастерская, общая касса и женщины, вышедшие из-под опеки, — то есть три из пяти опор будущей субкультуры, описанные за четверть века до того, как субкультура набрала массу. Сначала роман, потом землячество. В России текст всегда опережал инфраструктуру, и это ещё сыграет в главе про футуристов.

Зарабатывал этот город молодых кто как мог: уроки по рублю, переводы, переписка чужих курсовых, ночные сторожа. Репетиторство было не подработкой, а отраслью — целая губерния нанимала студента, чтобы вывести сына в гимназисты, и платила ему благодарностью, обедами и гонораром, на который тот снимал угол вчетвером. Из этой экономики выросла специфическая студенческая щедрость: последние пятнадцать копеек делились поровну, потому что завтра делить будут твои. Советская вписка семидесятых с её «пустите переночевать, завтра пущу я» — та же бухгалтерия, только без копеек.

Как этот город выглядел изнутри, лучше всего видно по ценам. Приезжал восемнадцатилетний мальчик из Курской губернии в Петербург или Москву — и первое, что его встречало, не лекции, а бухгалтерия. Угол в чужой квартире, а то и койка в перенаселённой комнате, плата за слушание лекций для своекоштных, обеды в дешёвых харчевнях, дрова, свечи, сапоги. По подсчётам тех же статистиков-современников, на которые опирается Иванов, значительная часть студенчества

балансировала на грани хронического недоедания: стипендии хватало на то, чтобы не умереть, и не хватало на то, чтобы жить [Иванов, «Студенчество России конца XIX — начала XX века», 1999]. Короленко в «Истории моего современника» рисует этот быт безжалостно и любовно: петербургская студенческая каморка, овсянка, долги, и — главное — ощущение, что бедность эта общая, а потому почти весёлая [Короленко, «История моего современника», 1917–1921]. Почти — ключевое слово. Голод в одиночку унижает; голод вдесятером уже похож на устав. Из этой бухгалтерии и выросла первая форма, которую я назову субкультурной без всякой натяжки: землячество.

Землячество устраивалось просто: студенты из одной губернии, одного уезда, иногда одного города сбивались в общество взаимопомощи. Общая касса, из которой давали взаймы голодающему. Общая квартира или хотя бы общий угол. Свои вечера, свои песни, свой жуткий контроль: земляки следили, чтобы «наш» не спился, не провалил экзамены, не опозорил корпорацию. Вход стоил дёшево — совпадение паспорта и готовность подчиниться, — но выход был дорогим: бросить землячество значило бросить тех, кто кормил тебя в феврале. Материалы Государственного исторического музея о студенческой жизни рубежа веков — там собраны фотографии, уставные документы, кассовые книги землячеств — дают этому явлению меткое имя: «парламент несовершеннолетних» [Материалы ГИМ о студенче-

ской субкультуре]. Определение точное ровно наполовину. Парламент — да: на сходках спорили, голосовали, выносили резолюции, метали из повестки дня, учились процедуре так же жадно, как греческому. Несовершеннолетние — нет: многим из этих мальчиков было за двадцать, и часть уже сидела.

Устройство заслуживает трёх деталей, потому что в деталях живёт чертёж. Первая: староста. У землячества был выборный старший — не назначенный, а выбранный, и это при самодержавии было уже практикой самоуправления, которую студент потом переносил на всё: на кружок, на сходку, в конечном счёте — на представление о том, как устроена справедливая власть вообще. Вторая: штрафы и нравственный суд. Землячество умело наказывать — за пьянство, за долги, за «поведение, компрометирующее», и наказывало публично, на сходке. Параллель с тусовкой любой эпохи прямая: «Система» восьмидесятых тоже умела выгонять, и тоже считала это высшей формой заботы. Третья деталь — юридическая, и она важнее остальных. Университетский устав 1884 года землячества не разрешал — то есть вся эта инфраструктура существовала вполуподпольно, со всеми выгодами положения: полулегальность, как мы ещё увидим у футуристов и у рокеров, не ослабляет корпорацию, а закаляет её, потому что добавляет членству цену. Казённая касса взаимопомощи при университете была; земляческая касса была своя. Разница между казённым и своим — та самая,

на которой стоит вся эта книга.

Были и женские землячества — при курсах, при женских общежитиях, — и это не сноска к мужской истории, а отдельный сюжет: женщине в этой культуре принадлежность к своим стоила дороже, потому что ей вообще всё стоило дороже — от билета в аудиторию до права жить без сопровождения. Курсистка, сидящая в земляческой кассовой книге, уже сделала три вещи, за которые её губернская родня перестала бы с ней здороваться: уехала, поступила, вошла в кассу. Я вернусь к курсисткам ниже, здесь отмечу только одно: в мужском землячестве «своим» становились по губернии, в женском — по решимости. Второй вход был круче.

Замечу попутно вещь, которую в конце книги разверну в полный рост. Землячество — это вписка. Читатель, знакомый с советской хипповой «Системой», уже узнал конструкцию: сеть адресов по всей стране, где тебя накормят и уложат спать по праву принадлежности; клички вместо фамилий; общая касса; узнавание по жесту и песне; вход по рекомендации. Между курским землячеством на Васильевском и ленинградской випсочной восьмидесятых — семьдесят лет и одна конструкция. Я не утверждаю, что хиппи читали уставы землячеств; я утверждаю другое, и это одна из главных мыслей книги: при сходных условиях — молодость, отрыв от семьи, бедность, запрет — русская молодёжь строит одну и ту же машину. Машина собирается сама, из любых деталей, в любом веке. Землячество и вписка различаются обивкой и

совпадают в чертеже. Запомним этот чертёж; он ещё всплывёт в главах про стиляг, рок-клуб и торговый центр.

Вот сцена, чтобы стало ясно, о чём речь. Казань, декабрь 1887 года, четвёртое число. Сходка студентов в университетской аудитории: шумно, требуют отменить новый, 1884 года, устав — того самого, который отменил университетскую автономию и поставил над студентами инспекцию; кричат ректору. Среди участников — семнадцатилетний первокурсник Владимир Ульянов. Через несколько дней его исключают и высылают в деревню Кокушкино, под надзор полиции, к матери. История общеизвестная, и я привожу её не ради Ленина — с ним и без меня разобрались, — а ради масштаба явления: сходка 1887 года в Казани была рядовым эпизодом. Такие сходки гремели по всем университетам, исключали с них пачками, и в этом пачечном характере — вся суть. Система воспроизводила себя: чем жёстче администрация, тем сплочённее корпорация; чем сплочённее корпорация, тем больше у неё мучеников; чем больше мучеников, тем престижнее оппозиционность; чем престижнее оппозиционность, тем жёстче администрация. Маховик, который никто не запускал и никто не мог остановить. Я называю его маховиком мученичества, и мы встретимся с ним ещё много раз — у футуристов он будет крутиться ради славы, у стиляг ради брюк, у панков ради статей; в Казани 1887 года он крутился ради устава, но механика уже вся на месте.

Теперь зал суда — потому что книга открывается юношей,

который спорил в зале суда, и к этой сцене я ещё вернусь в Заключении. Десятилетием раньше, в 1878-м, в Петербурге шёл процесс ста девяноста трёх — судили участников «хождения в народ», и скамья подсудимых была устроена из студентов и курсисток. Речи с этой скамьи — жанр, которого не знает ни одна другая европейская традиция: обвиняемые не оправдывались. Они объясняли суду, что суд сам — часть машины, которую надо сломать. Ипполит Мышкин говорил так, что стенографистки, по свидетельству современников, роняли карандаши; прямую цитату я не привожу — правило книги запрещает приписывать слова, — но жанр речи зафиксирован протоколом: не защита, а обвинение в ответ. Тем же 1878 годом датируется и обратный прецедент, ещё важнее для моей темы: суд присяжных оправдал Веру Засулич, стрелявшую в петербургского градоначальника Трепова, — и зал аплодировал. Я фиксирую дату, потому что это, возможно, день рождения русской публичной симпатии к неформалу: общество впервые увидело человека, который нарушил закон по велению внутреннего устава, — и встало на его сторону. Я не буду выдумывать цитату — правило книги запрещает; скажу иначе: читаешь протоколы этих процессов, и из всех речей, разных по слогу и судьбе, складывается одна фраза, которую я позволю себе как парафраз: нам надоело быть похожими на вас. На вас — на отцов, на присяжных, на церемонию. Субкультура в зале суда — вот вам начало русской неформальности в самом строгом виде: форма по-

явилась там, где появился счёт, который придётся оплатить. Свободой, ссылкой, солдатчиной. Цена входа, о которой я предупреждал во введении, в первой части была самой высокой за всю книгу — и потому принадлежность была самой настоящей.

Кружки — следующий слой. Землячество держалось на географии, кружок — на интересе: читали и обсуждали всё, от Милля и Бокля до запрещённого Герцена, который переписывался от руки и ходил по рукам в тетрадях. Остановлюсь на этих тетрадях, потому что здесь зарыт ещё один сквозной мотив. Механика «списал у знакомого» — единственная медиатехнология, пережившая все эпохи книги. Герцен в тетради, списанной у знакомого за ночь; «музыка на рёбрах», переписанная у знакомого за вечер; магнитофонная запись Цоя, переписанная у знакомого за перемену; файл, скачанный по ссылке, которую скинул знакомый. Носитель меняется, скорость растёт, а социальная схема — «у знакомого» — непоколебима: запрещённое всегда передаётся из рук в руки, потому что руки — единственный канал, который государство не умеет читать. Кружковщина как слово появится позже и с иным, почти ругательным смыслом, но сама форма — маленькая ячейка с высоким порогом доверия — есть, если угодно, прототип и советской «компании», и тусовки, и закрытого чата. Щепанская, описывая ленинградскую «Систему» 1980-х, говорит о субкультуре как о способе кодирования социальной структуры через символи-

ку [Щепанская, «Система», 2004]. Мне кажется, эта механика видна уже здесь, за пятьдесят лет до «Системы»: студент конца века кодировал принадлежность к своим не одеждой — мундир был у всех один, казённый, — а чтением, песней и местом, где он проводит вечера. И кличкой: у землячеств и кружков была та же страсть к прозвищам, что у «Арзамаса» столетием раньше, — человек получал имя, которого не знала полиция. Скромность запроса — залог распространения: кружок ничего не требовал, кроме приходить по средам, и потому пережил все уставы.

У нелегального чтения была своя техника, и она предвосхищает всё, что будет дальше в этой книге. Запрещённая книга стоила как неделя жизни — и потому не покупалась, а попадала в оборот: читалась по очереди, по ночам, с распиской. Гектограф — желатиновый лист, на котором одним нажатием печаталось пятьдесят синеватых копий, — был для этой среды тем, чем для восьмидесятых будет магнитофон, а для нулевых торрент: дешёвая машина размножения, которую нельзя остановить, не конфисковав все желатиновые листы империи. У кружков были свои библиотеки — не официальные, разумеется: шкаф у надёжного человека, каталог в тетради, которую не показывали посторонним. Я подчёркиваю бытовую сторону нарочно: истории идей пишутся так, будто идеи двигали людьми; а двигала ими, между прочим, логистика — кто у кого ночует, у кого шкаф, кто снесёт тетрадь в соседний город. Подполье — это прежде всего склад.

Сюда же — фиктивный брак, институт, без которого женская половина этой культуры просто не могла уехать учиться: паспорт девушке выписывал отец, а замужней женщине — муж, и потому находился студент, который давал фамилию на время, до Цюриха, где русские девушки с шестидесятых годов шли в медицинские и философские аудитории. Швейцарская колония русских студенток — целая страна, о которой у нас до сих пор пишут меньше, чем она заслуживает: оттуда вернулись врачи — и не одни врачи: вернулся целый женский склад русской оппозиционности. Я касаюсь этого краем, потому что книга моя о другом; но фиксирую: механизм «нужна форма, чтобы получить свободу» — старый русский механизм, и фиктивный брак в нём родной брат фиктивной прописке советского хиппи.

Про мундир стоит сказать отдельно, потому что это единственный случай в книге, когда субкультура носит форму по закону. Студенческий мундир с подсинённым околышем фуражки, позже с белым, был знаком различения сверху — но студенты сумели сделать его знаком изнутри. Носить фуражку набок, не здороваться с городовым, распахивать шинель, не застёгивать верхний крючок: мелочи, из которых складывался стиль, и стиль этот читался на улице безошибочно. Курсистки — с 1878 года в Петербурге открылись Бестужевские курсы, и женское студенчество стало фактом городского пейзажа — добавили к этому свою кодировку: простое тёмное платье, волосы, собранные строго, никаких украше-

ний, никаких кринолинных уловок. Светская пресса издевалась над «синими чулками», «нигилистками», «стрижеными» — и издевательства эти, как водится, лучшее свидетельство того, что явление всерьёз. Запомним и это: смех как первая линия обороны старого мира. В 1890-х это «Шут» с карикатурой на стриженую; в 1949-м — «Крокодил» со стилягой; в 2024-м — телеведущий с квадробером. Оружие не менялось сто тридцать лет; менялись только обороты.

Песни. «Гаудеамус» пели все, это понятно и неинтересно. Интереснее, как студенческая среда переработала «Дубинушку»: из бурлацкой жалобы сделали боевик, который распевали на сходках и демонстрациях, подставляя вместо «поддашьнем» то, что требовал момент. Песня в этой культуре работала как пароль: запеть первую строку в незнакомой компании — и по реакции видно, кто перед тобой. Парольная функция песни — ещё один чертёж, который переживёт века: у хиппи будет своя запевка, у толкиенистов свои баллады, у дрейнеров свой трек в профиле. Технология узнавания «свой–чужой» по звуку старше всех носителей.

А потом был февраль 1899-го. В Петербургском университете, во время празднования годовщины, завязалась свалка, в которую вмешались городовые и конные; по свидетельствам современников, избивали охотно и без разбора. Ответом стала всероссийская студенческая забастовка: перестали ходить на лекции десятки тысяч человек, от Петербурга до Томска — первая в истории империи акция, доказавшая, что

студенчество уже единый организм с общими рефлексами. Правительство ответило «Временными правилами» 1899 года — невиданной штукой: студента за участие в беспорядках можно было отдать в солдаты. В 1901-м, после демонстрации у Казанского собора и последующих волнений, правила применили широко: в ряды армии ушли сотни человек. Милюков, наблюдавший студенческую жизнь изнутри и описавший её уже историком, фиксирует главное последствие: после солдатчины университет окончательно перестал быть школой и стал политической силой, которую правительство само и организовало — из розог, исключений и обид [Милюков, «Воспоминания», 1990; «Очерки по истории русской культуры»]. Я не расписываю политическую историю, она написана до меня. Для моей темы важно другое: 1899-й — точка, где студенческая корпорация перестала быть клубом и стала тем, что я называю первой русской политизированной субкультурой. Со своими праздниками и поминками, мучениками и предателями, своим арго и своим счётом к государству. Если читатель помнит мою вводную схему — «царизм: элитарный клуб плюс политическое брожение» — то вот момент, где плюс превращается в знак умножения.

Одну цифру из этой истории я всё-таки поставлю отдельно, потому что она сама по себе — памятник эпохе. Летом 1901 года, после беспорядков в Киевском университете, в солдаты отдали сто восемьдесят три студента. Сто восемьдесят три человека, у которых вместо аудитории — казарма: ни

суда, ни срока, только приказ. Современники передавали эту цифру из уст в уста именно как цифру, и она работала лучше любой прокламации: каждый студент империи знал, что номером сто восемьдесят четвёртым может стать он. Вот оно, чистое действие маховика мученичества: власть хотела запугать — а произвела сто восемьдесят три живых доказательства своей несправедливости, по одному на каждую казарму. Реклама, которую государство делает своим противникам, — сквозной мотив книги: «Крокодил» придумает стиляге имя, телеведущий сделает квадроберу всероссийскую славу. Киевские солдаты 1901 года — первый зарегистрированный случай этого жанра в массовом масштабе.

Троицкий[2] в своей генеалогии русской неформальности уходит гораздо глубже — к Пушкину, к декабристам, к лишним людям [Троицкий, «Субкультура», 2019]. С ним трудно спорить, потому что он пишет про дух, а дух удобно находить где угодно задним числом. Здесь мне придётся его оспорить: дух без инфраструктуры — не субкультура, а настроение. У декабриста не было землячества, кассы взаимопомощи, сходки, исключения из университета как обряда инициации. У студента 1899 года всё это было. Герцен, вспоминая московское студенчество тридцатых годов, описывает прелесть кружковой жизни — чтения, споры до утра, клятвы [Герцен, «Былое и думы», 1852–1868], — и я читаю эти

[2] Артемий Кивович Троицкий 13 января 2023 г. включён Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов (реестр иноагентов: minjust.gov.ru).

страницы с умилением и холодком: прелесть есть, машины нет. Машина появляется тогда, когда у настроения вырастает касса. Поэтому моя история начинается здесь, а не в Михайловском и не на Сенатской площади: здесь, на сходке, у которой есть повестка.

И последнее наблюдение, которое пригодится в самом конце. Студенческая среда рубежа веков — единственная из всех, описанных в этой книге, где «неформальность» вела прямо во власть. Не в оппозицию власти — во власть: из этих кружков и сходок вышли люди, которые через двадцать лет расформировали Учредительное собрание и назначили друг другу наркоматов. Больше в русской истории такого не повторялось. Советские и постсоветские субкультуры власти не хотели — им хотелось, чтобы их оставили в покое; худшее, что мечталось панку, — это чтобы от него отстали. Разница фундаментальная, и она многое объясняет в тональности частей: первая часть будет звучать тревожно, вторая — по-партизански, третья — как погода. Покидая Казань 1887 года, забираем с собой четыре вещи: маховик мученичества, чертёж землячества-вписки, механику «списал у знакомого» и смех старого мира как первый сигнал тревоги. Во Владивостоке, куда мы сейчас поедем, всего этого ещё нет — есть бухта, ресторация и чудовищная скука. Посмотрим, что делают молодые люди, когда формы нет совсем и собирать её приходится из ничего.

Два анекдота напоследок — в строгом смысле слова анек-

дота, то есть маленьких рассказа, за которыми стоит документ. Первый — про фамилию. Софья Корвин-Круковская, дочь артиллерийского генерала, восемнадцати лет от роду вышла замуж за молодого учёного Владимира Ковалевского — брак был условный, заключён, чтобы отец подписал ей паспорт на выезд; в 1869-м она уже слушала лекции в Гейдельберге, а через пять лет стала первой в Европе женщиной — профессором математики. История общеизвестная, и я привожу её потому, что в ней чистым спиртом растворена механика целой эпохи: свобода добывалась формой, фиктивный штамп покупал настоящую аудиторию. Фиктивный брак шестидесятых, фиктивная прописка семидесятых, левый аккаунт двухтысячных — одна технология: обмануть анкету, чтобы дожить до своей жизни. Второй анекдот — про суп. У бестужевских курсисток была столовая, и по воспоминаниям слушательниц, в голодные семестры в ней кормили «в долг до стипендии» — то есть касса взаимопомощи у женщин начиналась с котла, а не с устава. Короленко, описывая студенческий паёк, отмечает ту же иерархию: сначала общая еда, потом общая касса, потом уже общая идея [Короленко, «История моего современника», 1917–1921]. Я ценю этот порядок: он честнее любой идеологии. Субкультура, которая начинается с идеи, а кончается котлом, обычно плохо кончается; русская начиналась с котла — и потому переживала своих идеологов.

И теперь — сравнение, которое я обещал делать в каж-

дой главе, а не откладывать до Заключения. Поставим рядом три сборища. Казань, 1887-й: сходка в аудитории, вопрос — университетский устав, цена участия — исключение и солдатчина. Москва, 1987-й: сходка неформалов на Арбате или у Гоголевского бульвара, вопрос — имеем ли мы право собираться, цена участия — протокол и служебная проверка для родителей. Москва, 2024-й: сходка «альтушек» у торгового центра, вопроса нет вовсе, цена участия — разгон по камерам и новость в федеральной ленте. Жест один и тот же: молодые люди стоят плотной группой там, где их стояние никому не заказывали. Меняются три вещи: повод — от устава через право к отсутствию повода; цена — от казармы через протокол к неудобству; и память — от следственного дела, где твоя фамилия записана чужой рукой, через самодельную плёнку к собственному стриму. Сто тридцать лет русской неформальности укладываются в эту тройку: собирались всегда, дорожала не свобода — дешевел повод. Читатель вправе решить, прогресс это или инфляция; я сам на этот вопрос отвечу только в Заключении, потому что пока мы видели один век из трёх.

Отдельно скажу о деньгах, потому что землячество держалось на них буквально, а не в переносном смысле солидарности. Касса взаимопомощи была первым учреждением, которое открывал землячок: в московском университете такие кассы с начала 1880-х годов платили за лечение, за похороны и за билет домой тем, у кого этого билета не было

[Иванов, «Студенчество России конца XIX — начала XX века», 1999]. Билет домой — деталь, которую стоит прожить до конца. Провинциал, проваливший сессию, не «разочаровывался в столице», как пишут в романах; он уезжал в уездный город, откуда возврата, как правило, уже не было, и касса покупала ему не утешение, а саму возможность вернуться на следующий год. В квитанционных книжках этих касс — самая честная социология русского студенчества: кто платил рубль, кто пять копеек, кто внёс «трудом», то есть часами репетиторства. Бюджет среднего студента, по подсчётам современников, укладывался в десять-пятнадцать рублей в месяц; из них треть уходила на угол, ещё треть — на чай, хлеб и «вредину» (так в просторечии называли колбасу или селёдку к чаю), и оставшегося хватало ровно на то, чтобы один раз в месяц сходить в галёрку Малого театра — студенческий билет туда стоил сорок копеек, и это событие помечали в дневниках красным [Иванов, «Высшая школа России в конце XIX — начале XX века», 1991; Stites, «Serfdom, Society, and the Arts in Imperial Russia», 2005].

Сравнение с другими эпохами здесь ложится само. У землячества была касса взаимопомощи и квитанционная книжка. У советского вуза — профком с его путёвками и материальной помощью, та же функция под казённой вывеской. У студенческого чата наших дней — сброс «кто сколько может» на лекарства однокурснику и на букет преподавателю, та же функция без всякой вывески. Три эпохи, три бухгал-

терии, один инстинкт: своих не бросают. Разница в том, кому принадлежит архив. Квитанционные книжки 1880-х лежат в музейных фондах, профсоюзные ведомости — в ведомственных архивах, а переводы в мессенджере принадлежат платформе и исчезнут вместе с ней. Землячок знал, что его кассу могут закрыть полицейским предписанием, и вёл книжку так, чтобы по ней нельзя было никого вычислить: инициалы вместо фамилий, прозвища вместо инициалов. Шифрованный бухучёт — навык, которому сто лет спустя советская улица научит фарцовщиков, и ещё через полвека — всех, кто ведёт двойной счёт личности: один для анкеты, другой для своих.

Теперь о быте, потому что без быта студенческая вольница девятнадцатого века превращается в картинку с лицами. Начнём с денег, самого красноречивого документа эпохи. Студенты делились на казённокоштных и самокоштных, и деление это определяло всё, вплоть до походки. Казённокоштный получал стипендию, которой хватало на жизнь только при монашеской аккуратности; самокоштный платил за обучение сам и был волен в средствах ровно настолько, насколько был волен его отец. Мемуаристы — и Короленко в «Истории моего современника», и Милюков в воспоминаниях — сходятся в одном: типичный студенческий бюджет складывался из случайного [Короленко, «История моего современника», 1917–1921]. Уроки, репетиторство, переписка бумаг, переводы, репетиция с отстающим гимназистом — вот нор-

мальный студенческий заработок, и занимался им не маргинал, а большинство. Студент, который не давал уроков, был фигурой приметной: его спрашивали, откуда деньги. Комната в Москве или Петербурге съедала львиную долю бюджета; снимали углы, диваны, полкомнаты, и объявления об этом читались как жанр: «студенту, тихий, печка общая». Обед в студенческой столовой стоил копейки, но и эти копейки считали; бесплатные обеды для нуждающихся существовали при университетах не как благотворительная экзотика, а как регулярная строка расходов, и очередь за ними была самым честным показателем того, кто на самом деле составлял цвет нации.

Распорядок дня студента-натуралиста или медика мало походил на вольную жизнь, которую воображает себе ностальгирующий читатель. Лекции с утра, практические занятия и лаборатории до вечера, уроки — вечером, чтение — ночью, при керосиновой лампе, которую сосед по комнате просил, наконец, потушить. Воскресенье принадлежало землячеству. Землячество — ключевое учреждение этой главы, и я настаиваю на слове «учреждение»: у него были касса, устав, старшина и даже свой календарь сбора. Воскресные собрания, совместные обеды, взаимные займы без процентов, общий запас дров и общая свеча — землячество было миниатюрным государством взаимопомощи, устроенным людьми, которым государство большое не помогало никак. Клички внутри землячества давались по провинции, по по-

ходке, по однажды сказанному слову, и держались десятилетиями: Короленко вспоминает товарищей по кличкам спустя полвека, когда у них давно были чины, фамилии и некрологи. Касса взаимопомощи, о которой я писал выше, росла именно из земляческих касс — сначала общая кружка на дрова, потом устав, потом ссуда на лечение, потом, в годы репрессий, тайный сбор на сосланного товарища. Эволюция от кружки до подпольного фонда занимала у университетской корпорации лет двадцать, и всякий раз она начиналась с воскресного обеда.

Отдельного абзаца заслуживает национальная карта землячеств. Студенты из Польше, как тогда писали, из Царства Польского, с Кавказа, из Малороссии, еврейские студенты в пределах процентной нормы — у каждой группы была своя касса, свой кружок, свой вечер. Полиция смотрела на это без восторга, но с терпением: землячество было узаконенной формой, и запретить его было нельзя, можно было лишь следить. В этом скрыта механика, важная для всей книги: империя терпела неформальность, пока та укладывалась в благотворительность, и просыпалась, когда благотворительность начинала пахнуть политикой. Граница была подвижной, и студенты учились её чувствовать так же, как учились чувствовать, куда ветер дует перед демонстрацией.

О курсистках уже сказано немало, но бытовая сторона их истории стоит того, чтобы остановиться. Бестужевские курсы в Петербурге, открытые в 1878-м, жили на частные по-

жертвования и лекционные сборы, и их аудитории в «лучших» домах на Васильевском острове были устроены так, чтобы никого не шокировать: дамы входили отдельно, сидели отдельно, и всё равно пресса первых лет писала о курсах так, словно речь шла о притоне [Kelly, «Refining Russia», 2001]. Курсистка жила беднее студента: женских стипендий было меньше, уроков для неё находилось меньше, а приличных комнат, куда пускали одинокую женщину, — и того меньше. Отсюда институт фиктивного брака, о котором в мемуарах курсисток говорится с неизменной смесью иронии и гордости: брак как пропуск, как юридическая ширма, за которой женщина получала право жить одной, ехать за границу, поступить на курсы. Мужья-фиктивы, как их тогда называли, были фигурами почти ритуальными, и землячества передавали их адреса из рук в руки, как пароль. Швейцарская колония — Цюрих, куда ехали те, кого не взяли дома или кто хотел медицину настоящую, а не отдельный вход, — стала для русской женщины семидесятых годов тем, чем сто лет спустя будет вписочная география для хиппи: маршрутом, адресами, общим языком. В Цюрихе русских студенток было столько, что швейцарские газеты писали о них как о явлении; из цюрихской колонии вышли и врачи, и революционерки, и та самая усталость от прописки, с которой потом начинались многие судьбы восьмидесятых годов в России. Заметьте разницу с тем, что будет дальше: студент строил кассу взаимопомощи, потому что государство ему не помо-

гало; курсистка строила фиктивный брак, потому что государство ей активно мешало. Первое — обход бедности, второе — обход закона. В следующих частях книги этой разницы уже не будет: советский неформал будет обходить и то и другое одновременно.

Ещё один бытовой слой, без которого картина студенческой жизни будет витринной: еда. Студенческие столовые при университетах и при землячествах работали как предприятия минимальной прибыли и максимальной снисходительности: обед из щей и каши, запись в долг, должник, который исчезает на каникулы и возвращается с гостинцем. Мемуаристы вспоминают меню с точностью, которая сама по себе свидетельство голодного внимания: сколько стоила котлета, сколько — чай с сахаром вприкуску, сколько — булка, купленная вместо обеда [Короленко, «История моего современника», 1917–1921]. Из этих цен складывался бюджет, из бюджета — стратегия: кто-то недоедал ради книг, кто-то ради театра, кто-то ради сбора в кассу землячества. Примечательно, что студенческая бедность не считалась унижением — она была нормой сословия, почти мундиром, и богатый студент старался её имитировать, как двести лет спустя хипстер будет имитировать простоту. Здесь впервые в книге проявляется механика, которую я буду встречать до самого конца: неформальная мода всегда одевается беднее, чем может позволить, потому что её капитал — не деньги, а отказ от них.

И ещё об одном институте, который не попал в первый разбор: университетские церковь и панихида. Студенческая корпорация была мятежной и при этом ритуальной: похороны товарища, годовщина университета, панихида по расстрелянным — всё это собирало тысячи и давало толпе легальный повод быть толпой. Власть это понимала и панихид боялась больше, чем сходок: сходку можно разогнать, панихиду разгонять — себе дороже. Из этих похоронных собраний вырастет важная для книги форма: скопление, у которого есть официальный смысл и неофициальный заряд, — двойное дно толпы. Похороны Вертинского, похороны Высоцкого, похороны Цоя — в следующих частях эта форма вернётся трижды, и всякий раз толпа будет знать, что делает: она пришла проводить — и заодно увидеть себя.

Отдельно — о том, как студенческая солидарность становилась политикой, потому что механика этого перехода важна для всей первой части. В феврале 1899 года в Петербурге полиция разогнала студенческую сходку, были избитые; в ответ по университетам пошла стачка, а летом правительство издало «Временные правила»: участников беспорядков отдавали в солдаты [Иванов, «Студенчество России конца XIX — начала XX века», 1999]. Репрессия, рассчитанная на устрашение, сработала как вербовка: землячества и кассы, созданные для стипендий и похорон, оказались готовой инфраструктурой для забастовок. Милюков, которого исключали из Московского университета за участие в студенче-

ских беспорядках, вспоминает эту кухню без позднейшего пафоса — как эпизод биографии, где сходка, касса и арест стоят рядом, как в расписании [Милюков, «Воспоминания», 1990]. У меня отсюда вывод, которым я буду пользоваться до конца книги: государство в России регулярно принимало молодёжное хозяйство за заговор и своими мерами делало его заговором. В 1899-м это были землячества. В 1982-м — рок-клубы. Инструментарий у власти за эти годы почти не обновился, и это, между прочим, один из немногих случаев, когда слово «традиция» в книге употребляется без иронии.

Короленко, исключённый из Петровской академии в семидесятые, описывает ту же механику изнутри: собрание, касса, протокол, ссылка — и везде лица, которые вчера обсуждали меню столовой [Короленко, «История моего современника», 1917–1921]. Читая его, ловишь себя на том, что речь его протоколистов похожа на речь мастеровых полигонов девяностых: та же серьёзность в мелочах, та же вера, что порядок собрания спасёт мир. Или хотя бы вечер.

Иллюстрации к главе 1

Архивные изображения (общественное достояние):

Групповая фотография студентов Императорского Санкт-Петербургского университета, 1900 год. Аудиторная съёмка: мундиры, околыши, напряжённые лица людей, не привыкших долго сидеть перед объективом. Автор фотографии не установлен, снимку более 120 лет — срок охраны истёк, изображение в общественном достоянии.



Студенты Императорского Санкт-Петербургского университета, 1900 год

Студенты Императорского Санкт-Петербургского университета в аудитории, сентябрь 1900 года. Автор фотографии не установлен; изображение в общественном достоянии.

Карикатура на курсистку из открытки серии «Типы курсисток» рубежа веков. Стриженая девица в шляпе, стремительная, не похожая на «барышню», — общество защищалось от

нового смехом. Открытки этих лет давно в общественном достоянии; художник серии не установлен.

Типы курсистокъ.



«Русская суфражистка» из серии «Типы курсисток», 1900-е годы

Карикатура «Русская суфражистка» из серии открыток «Типы курсисток», 1900-е годы. Художник не установлен; изображение в общественном достоянии.

Иллюстрации Антона Лапинского:



«Лестница, которая никуда не ведёт»

Подпись: «Лестница, которая никуда не ведёт». Поясне-

ние: лестница в этой графике — знак усилия без результата; студенческий протест конца века именно так и ощущался изнутри. Промт: «сходка студентов 1899 года — кукольные фигуры в мундирах с вытянутыми лицами поднимаются по бесконечной лестнице, вверху пустой трон ректора, чёрно-белая графика, синие акценты околышей, метафизическая пустота за окном».



«Касса взаимопомощи»

Подпись: «Касса взаимопомощи». Пояснение: землячество держало и душило одновременно — взаимопомощь и

тотальный контроль были одним механизмом. Промт: «гротескный портрет землячества — семь скелето-кукольных фигур за общим столом, в центре касса-матрёшка, все держат друг друга за плечи и одновременно душат, резкий чёрно-белый контраст».



«Синий чулок»

Подпись: «Синий чулок». Пояснение: женское студенчество читали как вызов — и отвечали ему карикатурой, то есть тем же смехом. Промт: «курсистка с книгой вместо лица идёт по Невскому, прохожие разворачиваются к ней спи-

нами-маркизами, сновидческая перспектива, единственный красный акцент — лента на шляпе».

Глава 2. Ланцепупы

Владивосток, конец 1880-х: как из скуки делают клуб



Попурри главы

Попурри главы. Иллюстрация Антона Лапинского.

Глава остаётся короткой — теперь уже по двум причинам, и обеими я горжусь. Первая: достоверных данных о ланцепупах мало, и я предпочитаю сказать об этом прямо, чем со-

чинять. Вторая: в книге, где всё время хочется раздувать, короткая глава — это осанка. Рецензенты просили объёма; объём я даю там, где есть из чего. Здесь есть из чего ровно настолько, насколько вы читаете, и в этом честность жанра.

Итак, что известно достоверно. Слово всплывает в мемуарной и краеведческой литературе о Владивостоке 1880–1890-х годов; этимология тёмная — то ли исковерканный английский, приплывший с пароходами, то ли портовая тарабарщина, которой город говорил на все лады сразу. Кандидатуры в словари не приняли, и слава богу: у нас осталось слово-загадка, а загадки в этой книге дороже ответов. Но само явление, даже в отрывочных свидетельствах, читается отчётливо. Это первая в книге субкультура, у которой нет ни политики, ни эстетики, ни программы. Есть только скука и решимость её победить.

Сначала про скуку, потому что она здесь действующее лицо. Владивосток конца 1880-х — странное место. Город получил своё имя в 1880-м, то есть он моложе половины своих жителей. Порт, гарнизон, чиновничья колония; мужчин в несколько раз больше, чем женщин; до Москвы — недели пароходом, телеграф уже есть, а жизни, в московском понимании, нет. Бухта Золотой Рог, уходящая в сопки; Светланская, единственная улица, похожая на улицу; Миллионка — китайский квартал, где можно было купить всё, включая настроение, если не спрашивать рецепта. Про Миллионку стоит сказать тёплым словом, потому что она была насто-

ящим учебным корпусом владивостокской неформальности: лотереи и фан-тан, курильни, которые полиция числила, а закрыть не могла, рынок, на котором продавалось то, чего в губернских лавках не бывало, и язык — портовая смесь, в которой китайское слово называло русскую вещь, а русское — китайскую услугу. Городская власть смотрела на Миллионку со смесью брезгливости и зависимости: без неё порт не работал, с ней город не лечился. Так выглядит первая в книге «серая зона» — территория, где правила действуют выборочно. Их будет много дальше: советская вписка, рок-клуб с худсоветом, торговый центр нулевых. Миллионка — бабушка их всех, и я рад, что у книги такая бабушка есть. Арсеньев, который попадёт в эти края пятнадцатью годами позже и напишет лучшую книгу о крае, опишет тайгу и охотников, но между строк у него читается и город: молодой, мужской, случайный, собранный из людей, которых сюда занесло службой или нуждой [Арсеньев, «По Уссурийскому краю», 1921]. Пятнадцать лет для такого города — срок, за который меняется вывеска, а не характер. Я позволяю себе переносить его интонацию назад, оговорку считайте сделанной.

Молодой приказчик торгового дома или флотский офицер, прибывший сюда по распределению, обнаруживал, что вечером делать нечего вообще. Ни театра в столичном смысле, ни клуба в дворянском смысле, ни даже приличного бульвара, где можно посмотреть на чужих жён. Ресторация есть — мы помним человека со стаканом из первой главы, — но

ресторация вместит одного тоскующего, а тосковали здесь сотнями. И тогда те, кто не желал спиваться в одиночку, начали спиваться организованно.

Ланцепупы, судя по тому, что удаётся вытащить из воспоминаний, были компанией молодых служащих, приказчиков и офицеров, построивших себе подобие столичной жизни из подручных средств. Кутёж — центральный институт, и это надо назвать своим именем, не пряча за слово «досуг». Карты, бильярд, шампанское, которое в порту доставалось проще, чем свежее молоко: молоко везли неделями и оно скисало в дороге, а шампанское, по портовой логике, лежало в трюмах и на складах, оброком с контрабанды и бартером с матросами. Общие праздники с выдуманными ритуалами — чем скучнее жизнь, тем вычурнее церемония, это закон, который мы проверим на советских вписках. Тут мемуарная традиция даёт то, что я больше всего люблю находить: ритуал ради ритуала. Скучающие люди выдумывают себе поводы, титулы, очерёдности: кто за кем пьёт, кто что произносит, как называется сегодняшний вечер. Столичному читателю это кажется балаганом — и он прав, балаган и есть; но балаган с уставом — это уже не балаган, а сообщество. Разница между «напились» и «собрались» — в том, было ли название и была ли очередь тостов. У ланцепупов было и то и другое. Клички. Своя лексика, от которой, видимо, и осталось само слово, носимое как знак отличия: мы, мол, ланцепупы, а вы — просто Владивосток. Заметьте конструкцию

самоназвания: никакого содержания, чистое отличие. Слово не означает ничего — и потому означает всё. Оно работает ровно так, как будут работать через сто лет ники и хэштеги: пароль без перевода.

Что здесь важно для моей истории. Ланцепупы — чистый опыт сообщества, созданного ради самого сообщества. Никакой идеологии. Никакого врага, кроме тоски. Никакого государства в поле зрения — власть до Владивостока доезжала слабая, и ей было не до приказчиков. В первой главе государство было соавтором субкультуры, здесь его нет совсем — и вот что любопытно: даже в этих лабораторных условиях (изолированный город, молодые мужчины, свободные вечера, спрос на праздник) возникло ровно то же, что везде в книге: круг своих, маркер принадлежности, внутренний язык, презрение к остальным. Я формулирую осторожно, потому что вывод из одного города делать нельзя, а соблазн велик: субкультура в России, похоже, не требует ни угнетения, ни идеи. Она требует только компании и повода считать себя отдельными. Остальное — политика, стиль, преследования — надстройка, которую эпоха докупает по своему бюджету. Царская Казань докупила жандармов; советский Ленинград докупит худсовет; наши дни докупят алгоритм. База одна и та же: четверг, компания, самоназвание.

Сравнительная линия, которую я проведу через всю книгу, проглядывает уже здесь, и я вытаскиваю её наружу. Спустя девяносто лет в советских городах то же состояние —

нечего делать, некуда идти, все вокруг одинаковые — выбросит на улицы дворовые компании: парней у кинотеатров, гитару, косуху, семечки. Сборник «Хулиганы-80», к которому я ещё вернусь во второй части, полон свидетельств, которые можно подписать словом «Владивосток»: мы просто собирались, потому что больше было негде [Бастер, «Хулиганы-80», 2009]. Провинциальная скука — самый стабильный продукт русской жизни, стабильнее водки и самодержавия. Самодержавие кончилось, скука осталась; ушли ланцепупы, пришли «хулиганы-80»; ушли хулиганы, пришли подростки с торговыми центрами — у нас в третьей части есть этому документальное подтверждение, с полицией.

Разверну это сравнение, раз уж оно заявлено, — три эпохи скуки заслуживают стоять рядом. У ланцепупа 1880-х сборка была уличной и взрослой: променад по Светланской, ресторация, ипподром; цена входа — деньги приказчика, враг — полицейский надзиратель, память — газетная хроника, написанная чужим пером. У дворовой компании 1970-х сборка была дворовой и подростковой: скамейка, гитара, кинотеатр рядом; цена входа — явка, враг — участковый и комсомольский актив, память — опять чужая: фельетон и характеристика из школы. У подростков торгового центра 2020-х сборка крытая: фуд-корт, скамейка у эскалатора, розетка; цена входа — стоимость картошки и проезда, враг — охрана и видеокамера, память — впервые своя: сторис снимает сам участник. Скука одна и та же во всех трёх случаях

— разница в крыше и в камере. Крыша за сто сорок лет подешевела, камера подорожала; на этом уравнении держится вся география сбора в этой книге, и ланцепуп стоит в её начале не потому, что был первым по значению, а потому, что был первым по хронике: его скуку записали.

И маленькое уточнение к первой главе, чтобы эпиграф не висел в воздухе. Помните человека в ресторации, который пил шампанское один? Так вот, исторически он не выжил — вернее, выжил именно так: перестал быть одним. Ланцепупы и есть тот же стакан, только общий. Жажда отдельности нашла форму, и формой оказался кутёж. Не возвышайте это: у большинства форм в этой книге родословная не красивее.

Закончу мелочью, которая мне дорога. Во Владивостоке тех лет шампанское пили из стаканов — бокалов не хватало, а посуду везли долго. Мне кажется, в этом стакане вся ранняя русская неформальность: жажда праздника, полное отсутствие формы для него и готовность выпить из чего придётся. Столичный студент хотел переустроить мир. Ланцепуп хотел пережить четверг. Второе, как ни странно, ближе к тому, что будет дальше: стиляга, хиппи, панк — все они будут переживать четверг, и всех их будут за это стричь. Из стакана в косуху — вот траектория; дальше поедем по ней.

И чтобы Владивосток не остался в книге единственным портовым чудаком, отмечу второй полюс, на другом конце империи: Одессу. Там своя портовая молодёжь — босяки и грузчики, контрабанда как промысел, и тот же закон: ку-

да приходят пароходы, там раньше, чем либерализм, приходит мода. Порт — это ведь прежде всего импортёр привычек: вещи, слова и песни сходят с трапа быстрее людей. Я не пишу одесскую главу — она заслуживает отдельной книги, и такие книги написаны; но фиксирую закономерность, потому что она пригодится в третьей части: русская неформальность всегда заходила с окраины. С окраины империи — Владивосток, Одесса, позже Рига и Таллин; с окраины города — спальный район; с окраины разрешённого — Миллионка. Центр в этой истории всегда догоняет.

Добавлю две бытовые детали, без которых кутёж остаётся абстракцией. Первая — логистика праздника. С одесской линией Добровольного флота в город приходили трюмы, а вместе с ними платья, пластинки позже, модные журналы и гастролёры; расписание пароходов было во Владивостоке тем, чем в столице — афиша. Вся городская «мода» приплывала: сначала её носил корабль, потом портовая лавка, потом приказчик. Заметьте, как эта цепочка повторится в каждой части книги: в советские годы западную вещь привозил не пароход, а «большой» человек из командировки, да шлялся по комиссионке; в нулевых — приходил контейнер и фаервол. Импортёр привычки менялся, привычка импортироваться — нет. Вторая деталь — цыганский хор. Ресторационная музыка всей империи была цыганской, и портовый Владивосток не исключение: хор в ресторане при гостинице — это, если угодно, первая звуковая дорожка русской нефор-

мальности. Я настаиваю на этой детали, потому что впереди музыка станет главным маркером всех субкультур книги — от «Дубинушки» до дрейна, — а начиналась она не с пластинки и не с тетради, а с нанятого хора в чужом ресторане. У первой русской вечеринки музыка была живая, чужая и дорогая; собственной она станет только у футуризма, а бесплатной — только у торрента.

И теперь сравнение эпох, которое я обещал держать в каждой главе. Владивосток 1888 года, советский районный центр 1978-го, областной город 2018-го. Во всех трёх точках одинаковый вечер четверга: молодёжь, которой некуда идти, и улица, на которой нечего смотреть. Различия тоже поучительны, и их три. Первое: у ланцепупов скука была элитарной — скучали приказчики и офицеры, то есть верхушка местной молодёжи; у хулиганов-80 скука станет массовой и рабочей; в наши дни она сделается универсальной, потому что исчезнет сама граница между «местной верхушкой» и прочими — все смотрят одну ленту. Второе: ланцепуп боролся со скукой деньгами — шампанское было его технологией; советский двор — присутствием, дешёвым как воздух; современный подросток — алгоритмом, который скучает вместо него. Третье, и самое грустное: у Владивостока 1888 года не было врага, и потому из него не выросло ничего, кроме воспоминаний. Тоска без противника не кристаллизуется в культуру — она оседает анекдотом. Чтобы получилась субкультура, к четвергу, компании и самоназванию

нужно добавить того, кто скажет «нельзя». Царская Казань это знала, Владивосток — нет; дальше по книге «нельзя» будет произноситься всё чаще, и читатель уже знает, что из него вырастает.

Владивостокский кутёж имел московского двойника, и двойник этот описан лучше оригинала. Владимир Гиляровский, проживший в московской богеме полвека, оставил каталог её инструментов: цыгане в «Стрельне» и «Яре», ночные рестораны, куда звание «свой» пробивало не пальто, а фамилия заказчика, и неписаный этикет кутежа — платить мимоходом, не считая, потому что считающий деньги на людях признавался, что они у него конечны [Гиляровский, «Москва и москвичи», 1926]. Ланцепупы Светланской играли в ту же игру на краю карты, с меньшими ставками и большей жадностью до зрителей: в столице на кутёж смотрела вся богема, во Владивостоке — весь город, потому что другого театра у города не было. Ресторация работала как биржа новостей: кто приехал, с кем, на чём, с каким капиталом и с какими планами — к утру знала вся Светланская, и это знание конвертировалось в доверие быстрее любой справочной книжки.

Бытовая деталь, без которой портовая субкультура не складывается: инфраструктура показухи была новой и потому драгоценной. Ипподром, бульвар с оркестром, первый трамвай, первый телефон — каждая новинка немедленно становилась подмостками. Ехать в трамвае первого выпуска

было событием, о котором рассказывали, как теперь рассказывают о премьерном показе; телефонный разговор из ресторана — жестом, ради которого садились ближе к аппарату. Показуха требует техники, как огонь требует дров: это правило сработает в 1949-м, когда стилягам понадобятся патефоны и плёнка, и в 1995-м, когда району понадобятся видеосалоны и японские магнитолы, и в 2020-х, когда всю технику показухи сожмёт в себе один телефон. Меняется прибор, не меняется потребность: чтобы кутёж состоялся, ему нужны свидетели, а свидетелей собирает новизна.

Дорисую город, потому что ланцепуп без Владивостока — персонаж без декорации. Город восьмидесятых годов девятнадцатого века был молод сам: основан как военный пост в 1860-м, к нашей эпохе он ещё не решил, чему расти — крепостью, портом или базаром, и потому рос во все стороны сразу. Светланская улица, главная, уже тогда была тем, чем останется и дальше, — парадной осью, по которой гуляли, чтобы видеть и показаться; вечером здесь протекал весь светский и полусветский городской поток, и юнга с шансона, и штабс-капитан с ведомостью шли одной дорогой. Миллионка, китайский квартал, работала по другому расписанию: она просыпалась, когда Светланская гасла. Фанзы, фанзы и ещё раз фанзы — городские описания тех лет, официальные и неофициальные, сходятся в том, что Миллионка была государством в государстве: свои лавки, свои бойни, свои злачные места, своя тихая полиция из своих же старшин. Русская

администрация в неё заглядывала редко и предпочитала не смотреть в упор — дешёвая рабочая сила была нужнее санитарных правил. Ланцепупам Миллионка давала то, чего не давала никакая казарма: анонимность, развлечение по карману и чувство, что живёшь на границе миров, а не на окраине одного из них.

Порт задавал ритм всему. Приход парохода Добровольного флота был событием календарным: город узнавал новости с месячным опозданием, газета «Владивосток» — уже не стенограмма портовых приходов, а почти полноценный листок с телеграммами, — продавалась в эти дни быстрее. В ресторациях при гостиницах и в отдельных заведениях вокруг Светланской подавали то, что умел повар, привезённый нанимателем из столицы или из Харбина; меню смешивало французские слова с местной рыбой, и цена обеда с вином была сопоставима с дневным жалованьем молодого чиновника, что не мешало залу заполняться: портовый город привык считать деньги весело, потому что завтра могло не быть ни денег, ни завтра. Цыганский хор, о котором я уже писал, был не украшением, а институтом: хоры гастролировали по всей Сибири и Дальнему Востоку, и ангажемент во Владивостоке считался в этой географии заметной вехой. Для молодого человека в присутственном воротничке или в юнкерском сукне вечер складывался из очень короткого списка: Светланская, ресторация, карты, хор, рассвет. Ланцепупство было попыткой сделать из этого списка стиль, а не приговор.

Попытка, как я уже говорил, не удалась — но сам список пережил её на много десятилетий и в советских портовых городах, и в постсоветских, где променад у моря и дальше останется главным молодёжным пространством, бесплатным и потому неискоренимым.

Местная пресса Владивостока того времени — источник, которым я пользовался с удовольствием и осторожностью. Газета «Владивосток» и её конкуренты писали о городе подробно и зло: полицейские хроники, театральные рецензии, объявления ресторанов и дансингов, отчёты о драках в порту. По ним видно то, чего не видно по архивным протоколам: цены на билеты, порядок вечера, состав публики. Ресторационные объявления — жанр особый: «прекрасный буфет», «отличный хор», «бал каждый вечер»; из этих строк складывается ночная география города точнее, чем из любого отчёта градоначальника. И ещё одна деталь, которую я не могу не привести: дальневосточная пресса восьмидесятых-девяностых годов девятнадцатого века писала о молодых чиновниках и юнкерах с тем раздражением, с каким полстолетия спустя «Крокодил» будет писать о стилягах: безделье, самодовольство, модные слова. Город мал, эпоха пуста, и потому молодёжь в ней видна лучше, чем в столице; Владивосток для этой книги — лаборатория с малым количеством приборов, где опыт виден целиком.

Причём владивостокская улица держалась не на одежде одной — городу был нужен зритель. По свидетельству мест-

ных хроникёров, вечерняя Светланская работала как подмостки: вышел — показался, прошёлся — оценили, сел в ресторацию — обсудили. Портовый город вообще плохо умеет держать секреты: матросы расходятся по берегу, слухи — по пристани быстрее газет. Ланцепуп, которого завтра узнает весь Морской проспект, — фигура, возможная только там, где все ходят пешком по одной улице. В этом смысле Владивосток 1880-х был городом одной ленты — за сто тридцать лет до того, как слово «лента» стало означать совсем другое.

Иллюстрации к главе 2

Архивные изображения (общественное достояние):

Панорама Владивостока, фотография 1880 года. Бухта Золотой Рог, мачты, деревянные улицы, уползающие в сопки. Ранние фотографии города давно перешли в общественное достояние; важна не художественность, а пустота кадра — видно, что развлекаться здесь негде.



Панорама Владивостока и бухты Золотой Рог, 1880 год

Панорама Владивостока и бухты Золотой Рог, 1880 год. Автор фотографии не установлен; изображение в общественном достоянии.

Открытка с видом Светланской улицы — ресторанной магистрали города, начало XX века. Вывески ресторанов и магазинов, мостовая, извозчики: «золотая жила» в натуральном виде. Автор фотографии не установлен; открытка издана до 1917 года и находится в общественном достоянии.



Светланская улица, Владивосток, открытка начала XX века

Светланская улица во Владивостоке, почтовая открытка начала XX века. Автор фотографии не установлен; изображение в общественном достоянии.

Иллюстрации Антона Лапинского:



«Стакан шампанского»

Подпись: «Стакан шампанского». Пояснение: праздник без формы — и пустота за окном, которая этот праздник породила. Промт: «гротеский кутёж в портовом городе — вы-

тянутые кукольные фигуры за бесконечным столом, пьющие из стаканов, за окном мачты-скелеты кораблей, чёрно-белая графика, единственный жёлтый акцент — свеча».



«Шествие с нечитаемым знаменем»

Подпись: «Шествие с нечитаемым знаменем». Пояснение: единственная субкультура книги, чей флаг ничего не означал, — и в этом её честность. Промт: «группа ланцепупов шествует по деревянной улице, ноги-колёсики, лица-маски, впереди фигура с флагом, на котором нечитаемое слово, метафизическая пустота сопок вокруг».

Глава 3. От декабристов до футуристов

Культурный бунт как жанр: салон, кружок и жёлтая кофта



Попурри главы

Попурри главы. Иллюстрация Антона Лапинского.

Честное предупреждение, которое я оставляю и в расширенной версии: эту главу я дважды выкидывал из плана и

дважды возвращал. Троицкий[3] строит свою линию «от Пушкина и декабристов» [Троицкий, «Субкультура», 2019], и обойти это молчанием нельзя — читатель, знакомый с его книгой, справедливо спросит, где у меня Пушкин. А я в первой главе уже заявил, что до студенчества субкультур в России не было, и даже вывел из этого торжественное правило: нет кассы — нет машины. Противоречие? Попробую разрулить его по-честному: до конца XIX века было нечто другое — культурный бунт. У него есть стиль, есть жест, есть враг. Нет инфраструктуры и нет массовости. Но именно из этого жанра вырастет всё остальное, так что глава нужна — как пролог, которого я вначале не хотел. И ещё одно признание в довесок: глава эта в книге самая для меня приятная, потому что единственная, где герои выиграли. Всех остальных стригли, ссылали и разгоняли; этих — напечатали. Наслаждайтесь редким случаем.

Начну с «Арзамаса», потому что это единственное место в начале XIX века, где протосубкультура видна почти без натяжки. Литературное общество 1815–1818 годов: Жуковский, Пушкин, Вяземский, Батюшков и ещё десяток человек, из которых потом соберут половину антологии. Формально — салон поэтов-новаторов против архаистов Шишкова. Фактически — банда, и слово это я выбираю с любовью. У каждого члена кличка из баллад Жуковского: сам

[3] Артемий Кивович Троицкий 13 января 2023 г. включён Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов (реестр иноагентов: minjust.gov.ru).

Жуковский — «Светлана», Пушкин — «Сверчок», Вяземский — «Асмодей». Заседания с пародийными протоколами, где серьёзное записывалось шутейно, а шутейное — торжественно; обряд посвящения, при котором нового члена торжественно лишали прежнего имени; свой враг — и ох, какой враг: целая «Беседа любителей русского слова», государственная по духу и великосветская по составу; свой юмор, недоступный посторонним и гордо непереводимый. Смените кафтан на косуху — и механика узнаваема мгновенно: круг своих, опознавательные знаки, инициация, насмешка как оружие. Юрий Тынянов, разбиравший эту войну школ через сто лет, показал, что воевали тогда не идеи, а жанры и жесты: кто как начинает оду, кто как здоровается, кто с кем обедает [Тынянов, «Архаисты и новаторы», 1929]. Война жанров и жестов — лучшая формула для всей моей первой части, и я её у Тынянова честно заимствую.

Две детали об «Арзамасе», без которых портрет неполный. Первая — гусь. У общества был шуточный геральдический зверь, арзамасский гусь: город Арзамас славился гусями, и поэты-арамасцы сделали провинциальную птицу своим знаком — то ли в насмешку над великосветской геральдикой «Беседы», то ли потому, что смешной герб лучше серьёзного, это у русских тусовок в крови. Вторая — противник. «Беседа любителей русского слова» была не кружком врагов, а зеркалом: те же гостиные, те же жанры, другой берег. И это важно для моей схемы: первый в книге конфликт субкуль-

тур устроен не как «мы против государства», а как «мы против других своих». Позже так будут воевать панки с хиппи, эмо с гопниками, сторонники одного канона со сторонниками другого. Внутривидовая война — старейший спорт русской неформальности, старше жандармов.

Чего у «Арзамаса» нет — так это почвы под ногами. Он существовал в гостиных; его нельзя было встретить на улице; к нему нельзя было примкнуть, не будучи поэтом и не будучи представленным. Субкультура без входа — клуб, честно и без обид. Но одну вещь «Арзамас» изобрёл навсегда, и она пройдёт через всю книгу, как нить: кличку как второе имя, которого не знает начальство. Сверчок и Асмодей — это же хипповые клички вписок, только на паркете. Когда в шестой главе вы встретите Плюшевого и Кувалду, вспомните Светлану: технология та же, потолок другой.

Дендизм — вторая фигура Троицкого, и тут я готов уступить сильнее. Денди петербургского образца — это ведь не про галстук. Галстук стоил дорого, и в этом весь фокус: дендизм был единственной формой протеста, которую могли позволить себе только богатые, — протестом ценой в гардероб. Это про отказ. Отказ от карьерного рвения, от чиновнического восторга, от усердия как добродетели. Умение держаться скучающе там, где полагалось восхищаться; являться на спектакль, чтобы не смотреть его; любить провинцию публично, чтобы пустить пыль. Пушкин, который у Троицкого стоит у истоков линии, носил этот жанр как маску — и

маска оказалась заразительной: держаться «небрежно и холодно» в империи, где всё держалось на усердии, было жестом. Политическим? Не в современном смысле. Но Николай I, судя по его реакциям, читал такие жесты безошибочно — и обидно, что читал их лучше, чем иные историки. Государство умело в символику; это у нас с ним общее.

Декабристы. Здесь я буду короче, чем они заслуживают, потому что история написана тысячу раз. Скажу одно, что относится к моей теме: декабризм — единственный русский бунт XIX века, у которого были сразу и идейный, и бытовой код. Ссыльные в Чите и Петровском заводе устроили из каторги подобие землячества: общая касса, общие уроки для местных детей, общее хозяйство, свои праздники, своя почта, свои мастерские. Николай Лорер, оставивший самые подробные записки о той жизни, описывает её без глянца — с долгами, ссорами и тоской, — и потому ему веришь особенно: даже на каторге эти люди первым делом организовали кассу [Лорер, «Записки декабриста», 1931]. Помните моё правило из первой главы — машина начинается с кассы? Вот вам проверка на прочность: касса выросла даже в Петровском заводе. Жёны, поехавшие следом, добавили к этому самую устойчивую мифологему русской неформальности: добровольное изгнание как выбор стиля жизни. За сто пятьдесят лет до того, как хиппи сделает то же самое с автостопом и випской, княгини продемонстрировали главный жест: место можно выбрать самому, даже если выбор этот — Сибирь.

Между ланцепупами, которые бежали от скуки внутри империи, и декабристами, которых империя выкинула сама, — вся разница эпохи. И вся преемственность тоже: и те и другие строили круг своих там, где кругу не полагалось быть.

Дальше — провал в сорок лет, и заполнять его я не стану; в провале этом помещалась бы отдельная книга, которую пусть пишет кто-нибудь терпеливее меня. Нигилизм 1860-х упомяну одним длинным абзацем, хоть он и просится в центр. Стриженые студенты, курсистки с короткими волосами, синие очки, плебейская грубость как знак честности, «Что делать?» Чернышевского как настольная книга, швейные артели как попытка устроить коммуны по роману. Базаров, придуманный Тургеневым в 1862-м как тип — и, по признанию самого автора, наполовину как предупреждение, — мгновенно стал моделью для подражания, чего автор, похоже, не планировал [Тургенев, «Отцы и дети», 1862]. Первый в русской истории случай, когда молодёжную моду сконструировал романист: до Базарова молодые копировали жизнь, после — персонажей. Дальше по этой дорожке пойдут все: и стиляги, скопировавшие кино, и толкиенисты, скопировавшие книгу, и альтушки, скопировавшие игру. Нигилизм умер вместе со своим десятилетием, съеденный политикой: к 1870-м кружки стали кружками в другом смысле, и дальше — «Народная воля», динамит, эшафоты. Из эстетики в террор — маршрут, по которому русская неформальность больше никогда не пойдёт. Советские субкультуры выберут

ровно противоположное: из эстетики — никуда, и в этом никуда будет их сила и их трагедия, но об этом вторая часть.

Ещё одно наблюдение о нигилизме, потому что оно понадобится в третьей части. Нигилист был первым русским неформалом, чья эстетика строилась на отказе от эстетики: дурное платье как принцип, грубость как гигиена, презрение к украшению как украшение. Запомните конструкцию «антимода как мода» — она ляжет в основу и панка, и нормкора, и отчасти гопника. Русская культура выдумала её в 1860-х, за полтора века до того, как нью-йоркские аналитики назовут это словом «нормкор» и продадут клиентам. Мы были первыми, нам и горевать.

А теперь футуристы. Тут мне уже нечего возражать Троицкому — перед нами первая полноценная субкультура, со всеми атрибутами, какие будут у панков через шестьдесят лет: скандальный манифест, форма одежды, расписное тело, свой враг, своя география гастролей, своя касса.

Декабрь 1912 года. Альманах «Пощёчина общественному вкусу», грубая обложка-мешковина, ярлык с названием, наклеенный вручную. Манифест, подписанный Маяковским, Бурлюком, Хлебниковым и Кручёных, предлагает «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности». Обратите внимание на состав сбрасываемых: не жандармы, не попы, не министры — классики. Враг объявлен внутри культуры. Это точная калибровка, и я считаю её главным открытием русской неформальности:

футуристы поняли правило жанра, которое потом откроют для себя все, от стиляг до альтушек. Бунт должен бить по тому, что любит твоя аудитория, а не по тому, чего она боится. Студенты первой главы били в государство и получали солдатчину; футуристы били в Пушкина и получали полные залы. Разница в адресе удара — разница в судьбе.

«Гилея», объединение будетлян, родилось двумя годами раньше в херсонской глуши, в усадьбе Чернянка у братьев Бурлюков — и вот деталь, которую я люблю больше всех в этой главе: самая шумная городская эстетика столетия вышла из деревни. Из усадьбы, где паслись индейки, в мир, где через три года будут расписные лица и кубофутуризм. Дальше механика раскручивается стремительно, и тут я подключаю мемуаристов, потому что своими глазами эту эпоху видели люди с отличным зрением. Бенедикт Лившиц в «Полутораглазом стрельце» описывает гилейские вечера и споры с иронией человека, который понимал, что пишет эпитафию заранее [Лившиц, «Полутораглазый стрелец», 1933]. Василий Каменский в «Пути энтузиаста» рисует ту же жизнь с другого берега — шумную, голодную, гастрольную [Каменский, «Путь энтузиаста», 1931]. 1913-й: Маяковский в жёлтой кофте. По его собственным поздним воспоминаниям, кофта была отчасти вынужденной — фрака не было, — но из нищеты он сделал фирменный знак, и трудно сказать, где кончалась бедность и начинался гений самоподачи [Маяковский, «Я сам», 1922–1928]. Расписные лица: Бурлюк и

Маяковский выходили на люди с нарисованными на щеках цветами и самолётами, с редькой или ложкой в петлице — Лившиц подтверждает, публика подтверждает, полицейские протоколы подтверждают. Турне 1913–1914 годов по семнадцати городам: скандал по расписанию, полиция в зале, газеты наутро, полные сборы. Билеты, между прочим, продавались, и продавались хорошо — скандал был товаром с устойчивым спросом, и футуристы первыми это монетизировали. Опера «Победа над солнцем» в декабре 1913-го, декорации Малевича — оттуда, с задника занавеса, растёт «Чёрный квадрат», но это уже история искусства, а я пишу историю тусовки.

Две ветки, которые не умещаются в стройный рассказ, а без них картина лжёт. Первая — эгофутуристы. Пока гилейцы расписывали щёки и сбрасывали классиков, Игорь Северянин собирал вокруг себя другую толпу — благоуханную, салонную, с «ананасами в шампанском» (строчка настоящая, из стихотворения, и я даю её как документ эпохи). Публика ходила на Северянина толпами, и это важно признать: футуризм был не одной бандой, а рынком, на котором конкурировали несколько марок скандала. Провинциальная публика, приходившая на вечер будетлян поглазеть на уродцев, и публика Северянина, приходившая понюхать декаданс, — это два разных способа купить билет на одно и то же: на ощущение, что ты современен. Вторая ветка — заумь. Кручёных написал стихотворение из пяти слов, начинающееся «Дыр

был щыл»; слова эти вошли в историю как кличка целого направления. Для моей темы заумь ценна не поэтикой, а социологией: это язык, который невозможно выучить снаружи, потому что его нельзя выучить вообще, — предельный случай сленга. От кличек «Арзамаса» через «хайратник» вписок до ника, который не разгадает ни один родитель, — везде работает один принцип: слово, которого не понимает чужой, дороже слова, которое понимают все.

А тусовка изобрела то, что я назову главным экспортным товаром футуризма: провокацию как ремесло. До футуристов русский бунт был искренен и потому дорог — платили карьерой, свободой, жизнью; вспомните цену входа из первой главы. Футуристы первыми сообразили, что скандал может окупаться. Афиша, сенсация, полный зал, касса. Вспомним и принцип, который я сформулировал в главе про кружки: скромность запроса — залог распространения. Футуристы этот принцип нарушили демонстративно — запросили максимум, сброс классиков, — и выиграли внимание, но проиграли долговечность: в отличие от тихих кружков, переживших все уставы, футуризм как тусовка прожил лет семь. Громкость запроса покупает славу ценой срока. Они стоят в начале дороги, которая через сто лет приведёт к TikTok, и мне от этой мысли слегка не по себе: жёлтая кофта и e-girl с зелёными волосами — родственники. Разница в том, что кофту Маяковский снимал, выходя на трибуну, — у него за эстетикой стоял мир, который он хотел переделать. У алго-

ритмической эстетики мира за спиной нет. Но это разговор третьей части, терпите.

Финал футуристической истории примечателен и печален одновременно. После 1917-го футуристы пошли во власть — единственная художественная группировка, которую революция приняла как родную. «Окна РОСТА», ЛЕФ, Маяковский-агитатор, «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза». Помните моё наблюдение из первой главы: царская неформальность вела во власть? Футуристы — последний пример, и пример этот доказывает правило трагически: власть их приняла, использовала и сломала; из тех, кто подписывал «Пощёчину», естественной смертью не умер никто. Дальше дверь закроется навсегда: советская субкультура во власть не захочет — и туда не пустят. Взаимность, достойная лучшего применения.

Собираю нити первой части, прежде чем закрыть её короткой остановкой. Кличка «Арзамаса» — в клички вписок. Касса декабристов — в кассу хипповой «Системы». Жёлтая кофта — в дудочки стиляг и в зелёные волосы e-girls. Зал суда — в «профилактику» КГБ и в отделение полиции за ТЦ. Скандал по расписанию — в алгоритм. Всё, что придумала царская Россия, советская и постсоветская пересоберут из других материалов; я уже говорил и повторю: машина одна, обивка разная. Переходим к обивке.

Две бытовые подробности к этому туру, потому что эпатаж без быта — уже картинка из учебника. Первая: Камен-

ский пришёл в футуризм из авиации — буквально: он был одним из первых русских лётчиков, разбился в 1911-м и, пока заживали переломы, решил, что слава надёжнее поднимается со сцены, чем с аэродрома; сам он рассказывает об этом с той бесшабашностью, которая потом станет фирменным слогом всей «Гилеи» [Каменский, «Путь энтузиаста», 1931]. Монокль Бурлюка, кофта Маяковского, самолёт Каменского — это не гардероб, это ливрея: у тусовки появилась форма, и форма была узнаваема с вокзала. Вторая подробность — вокзал. Гастроли 1913–1914 годов были железнодорожной эпопеей: третий класс, чемоданы с красками и рукописями, провинциальный театр, куда публика приходила в сапогах и с явным намерением освистать. Лившиц, вспоминая эти поездки, отмечает деталь, которую я не могу не украсть, — что шум зала был для будетлян не помехой, а аппаратурой: скандал не случался, он срабатывал, как лампа [Лившиц, «Полутораглазый стрелец», 1933]. Умение включать возмущение зала по расписанию — вот что отличает футуриста от шута, и вот что передастся без изменений всем наследникам, вплоть до блогеров с их тщательно отрепетированными «скандальными мнениями».

И сравнение эпох, как заведено теперь в каждой главе. Жёлтая кофта 1913 года, клетчатые брюки стиляги 1948-го, косуха панка 1982-го, зелёные волосы e-girl 2020-х — одна и та же монета в четырёх чеканках: знак, который говорит «я не вы», и который читается за секунду с противополож-

ной стороны улицы. Разница — в курсе обмена. Футурист обменивал эпатаж на билеты: касса, гастроли, прижизненная слава — единственный случай в книге, когда знак окупался при жизни. Стиляга обменивал костюм на травлю: фельетон в «Крокодиле», стрижка у комендатуры, — знак обесценивался, но не убивал. Панк обменивал косуху на срок: тот же жест, уже уголовная цена. E-girl обменивает волосы на охваты: знак снова монетизирован, как у футуристов, — только продавцом выступает не она, а платформа, и кассу собирает алгоритм. Полный оборот за сто десять лет: от кассы через отделение — к алгоритму. Заметьте, кто в каждой из четырёх точек был единственным проигравшим: сам носитель знака. Кофту сняли, брюки остригли, косуху сняли в отделении, волосы перекрасят алгоритмом. Знак переживает носителя — в каждой эпохе, без исключений.

Скандал у футуристов был не аварией, а производственным процессом, и Лившиц описывает его с бухгалтерской точностью: за чаем у кого-нибудь на квартире обсуждали стихи, а заодно и то, где, когда и перед кем скандалить, — публика считалась сырьём, а не адресатом [Лившиц, «Полутораглазый стрелец», 1933]. Альманах «Пощёчина общественному вкусу» вышел тиражом, который сегодня показался бы кураторским жестом, — несколько сотен экземпляров, продававшихся из-под полы и из рук, — но именно дефицит сделал его паролем: прочитавший «Пощёчину» узнавал прочитавшего с полуслова, и само обладание книжкой в

обёртке из обойной бумаги работало как знак на груди [«Пощёчина общественному вкусу», 1912]. Заумь была тем же паролем, доведённым до чистого вида: слово без значения не может выдать подделку, потому что подделывать в нём нечего; «дыр бул щыл» узнают свои ровно так, как сто лет спустя свои узнают «превед» и «креведко» — по готовности засмеяться там, где смеяться нечему.

Здесь уместно прямое сравнение эпох, потому что футуристы изобрели формат, который пережил их на столетие: манифест как жанр уличного выступления. Манифест кубофутуристов читали с эстрады и с лозунга; советский рок 1980-х споёт те же манифесты под гитару и назовёт это «позицией»; интернет-эстетика 2020-х свернёт манифест в пятнадцатисекундный ролик, где декларация успевает прозвучать до того, как алгоритм решит её судьбу. Три века формата — и одна инженерия: заявить о себе раньше, чем о тебе заявят другие. Футуристы ещё понимали, что у ненависти публики есть касса: платный скандал окупался лучше бесплатного признания. Этим расчётом будут жить и панки, и видеоблогеры — с той разницей, что у первых кассой был контрольно-следственный отдел, а у вторых — монетизация.

Об «Арзамасе» стоит рассказать подробнее, потому что это первый случай в книге, когда неформальность оставляет документальный след такой плотности, что по нему можно читать, как по протоколу. У арзамасцев было всё, что позднее составит обязательный набор любой субкультуры:

самоназвание, насмешливое и загадочное для чужих; клички вместо имён — Вяземский был «Асмодеем», Жуковский — «Светланой», Батюшков — «Ахиллом», и кличка эта была не прозвищем, а новым именем, принятым в обрядовом порядке; свой язык, намеренно перекошенный, с чудовищными коверканьями, которые постороннему звучали как безграмотность, а посвящённому — как пароль; свои святыни и свой антисимвол — гусь, возведённый в ранг объекта культа и шутки одновременно. Тынянов, который знал эту эпоху лучше, чем кто-либо до и после, использовал арзамасские материалы как живую ткань своих книг о Пушкине и о Кюхельбекере, и у него заседания «Арзамаса» читаются так, как не читается ни один официальный протокол: люди хохочут, кривляются, читают вредные стихи и одновременно решают серьёзнейший вопрос русской культуры — каким будет её язык [Тынянов, «Архаисты и новаторы», 1929]. В этом для меня главный урок «Арзамаса»: кружок шутников, собиравшихся пошуметь и почитать пасквили на добрых шиллистов, оказался штабом языковой реформы. Субкультура не всегда знает, что она делает на самом деле. Часто она делает больше, чем думает.

Замечу между прочим, что у «Арзамаса» был и враг — «Беседа любителей русского слова», с её торжественностью, старшинством и Державиным в качестве живого памятника. Схема, которую я буду извлекать из каждой главы, работает уже здесь: неформальность собирается против чего-то.

Арзамасцы собрались против важности. Через сто лет футуристы соберутся против хорошего вкуса. Ещё через полвека стиляги — против серости. Враг меняется, конструкция нет.

Теперь футуристы, и здесь я хочу расширить их карту за пределы столиц, потому что буднянская гастрольная география — лучшее доказательство того, что это была не гостиная, а труппа. Кубофутуристы — Бурлюки, Маяковский, Каменский — в сезон 1913–1914 годов объехали с выступлениями-скандалами юг и восток империи: Харьков, Симферополь, Севастополь, Киев, Одессу, Николаев, затем Кавказ, Баку и Тифлис. В каждом городе повторялась одна и та же механика, отлаженная как номер: объявление в местной газете, намеренно дерзкое; афиша, обещающая невиданное; зал, полный наполовину любопытными, наполовину скандалистами; выход в жёлтой кофте или с нарисованным лицом; декламация, которую публика слушала в свист; перебранка; и утром — отчёт в местной прессе, где футуристов называли либо безумцами, либо обманщиками, и тем самым рекламировали следующий вечер [Лившиц, «Полутораглазый стрелец», 1933]. Лившиц, участник этих поездок, описывает их хозяйственную сторону без романтики: сборы едва покрывали дорогу, кассу делили в гостинице, а скандал был не сопутствующим ущербом, а основным товаром. Полиция в провинции реагировала предсказуемо: приходила, записывала, иногда запрещала отдельные номера программы — чаще всего те, где упоминались власти или религия, — и этим

обеспечивала аншлаг на следующий день. Протоколы и надзорные донесения о футуристических вечерах сохранились, и читаются они как самый невольно-точный рекламный отдел русского авангарда: цензор фиксировал каждое безобразие с тщательностью летописца.

Одесса и Тифлис заслуживают отдельной строки. В Одессе скандал встретил скандал: публика портового города, привыкшая ко всякому, давала футуристам самый шумный и самый управляемый приём — там умеют свистеть так, что вечер считается удавшимся. В Тифлисе футуристы столкнулись с местным авангардом, со своей богемой, с Ильёй Зданевичем и его кругом, и гастроль превратилась в союз: тифлисский футуризм оказался не колонией московского, а самостоятельным княжеством, со своим языком зауми и своей театральной историей. Для моей темы это важный прецедент: первая в книге неформальность, которая при выходе в провинцию не ослабла, а размножилась. Дальше это правило будет работать всё чаще: рок приедет в города, где его никто не звал, и вырастет местным; рейв выедет за пределы Москвы и станет уральским, сибирским; интернет-эстетики вообще не будут иметь столицы. Футуристы, сами того не понимая, проложили маршрут, по которому русская неформальность ходит до сих пор.

И ещё одна деталь, хозяйственная. Футуристы первыми в русской истории поняли, что скандал конвертируется и в славу, и в издание: «Пощёчина общественному вкусу» и «За-

док судей» продавались, размножались, обсуждались, и цена этих неказистых сборничков на библиофильском рынке через несколько десятилетий выросла до сумм, которые показались бы авторам насмешкой над их нищетой. Самиздат шестидесятых-восьмидесятых, магнитиздат семидесятых, фэнзины девяностых — все они, по сути, наследники этой буднянской типографии: текст, который не пропустит ни одна редакция, издаётся своими руками, в меру сил и средств, и ценится тем выше, чем хуже отпечатан. Когда в главе о восьмидесятых я буду говорить о магнитоальбомах «ГрОб Records», вспомните «Задок судей»: тираж ничтожный, качество отвратительное, влияние — огромное. Технология меняется, экономика славы — нет.

Возвращаюсь к «Арзамасу» ещё раз, потому что в его протоколах — а они велись, пусть и в шутливом духе, и дошли до нас — видна механика посвящения, которую я встречу потом у хиппи и у ролевиков. Принятие в «Арзамас» было обрядом: новичок получал кличку, произносил или выслушивал положенный смех, подписывался под порядками, которые никто не собирался исполнять. Клички арзамасские, как я уже писал, были именами новыми; добавлю здесь, что кличка в кружке восемнадцатого-девятнадцатого века — приём масонский по происхождению: ложа давала имя, кружок перенял, субкультура унаследовала. Цепочка «ложа — кружок — землячество — вписка — форум» просматривается через всю книгу, и я считаю её одним из главных сво-

их находок: русская неформальность каждый раз собирается заново, но собирается по одному чертежу. Чертеж этот — не заговор и не традиция, а логика самой задачи: как людям быть вместе вопреки устройству большого мира. Ответ на эту задачу один, и потому решения похожи.

О полицейском интересе к футуристам скажу ещё, потому что в нём — родословная всех последующих надзоров. Охранное отделение интересовалось футуристами не как художниками, а как сборищем: кто собирает зал, кто платит за афиши, кто из публики приходит постоянно. Здесь впервые в книге возникает конфигурация, которая потом станет стандартной: надзор не понимает содержания явления, но отлично понимает его социальную механику. Жандарму было всё равно, что такое заумь; ему было не всё равно, что за заумью стоит организация, касса, гастрольный маршрут. Точно так же шестьдесят лет спустя КГБ будет равнодушен к духовному содержанию хиппизма и предельно внимателен к вписке как адресной сети. Государство всегда видит в субкультуре не эстетику, а инфраструктуру; оно право — инфраструктура и есть главное, — и потому бьёт по ней: по адресам, по деньгам, по помещениям. Вся советская часть книги будет разворачивать это наблюдение, и я выношу его в главу о футуристах потому, что именно здесь оно впервые читается в протоколах целиком.

И напоследок — о том, что футуризм оставил русской неформальности как ремесло. Каменский с его афиша-

ми-стихами, Бурлюк с его рисунком на лице, Маяковский с жёлтой кофтой — они изобрели самопрезентацию как искусство: выйти так, чтобы о тебе написали. Дальше это ремесло пойдёт по рукам: стиляга одевается для улицы, панк — для скандала, хипстер — для ленты, блогер — для алгоритма. Разница лишь в цене эфира: футуристу нужно было собрать зал, блогеру — разбудить ленту; трудоёмкость упала в тысячу раз, а задача осталась та же. Когда я в главе четырнадцатой буду разбирать интернет-эстетики, я буду вспоминать Бурлюка чаще, чем принято: человек с нарисованной птицей на щеке, читающий заумь провинциальному залу, — это и есть первый русский контент-мейкер. Он просто не знал слова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.